



**АЛЕКСАНДР  
ПРОХАНОВ**



*Война с востека*

# Александр Андреевич Проханов

## Кандагарская застава

*предоставлено правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174703](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174703)*

*Александр Проханов «Война с востока. Книга об афганском походе»:*

*ИТПК; Москва; 2000*

*ISBN 5-88010-099-5*

### **Аннотация**

В старину ставили храмы на полях сражений в память о героях и мучениках, отдавших за Родину жизнь. На Куликовом, на Бородинском, на Прохоровском белеют воинские русские церкви. Эта книга – храм, поставленный во славу русским войскам, прошедшим Афганский поход, с воевавшим войну в Чечне. Я писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов – офицеры и солдаты России, а вместо коней и нимбов – бэтээры, и танки, и кровавое зарево горящих Кабула и Грозного.

Входит в сборник «Война с востока. Книга об афганском походе»

# Александр Проханов

## Кандагарская застава

«Так, хорошо, нормально... Теперь на цель сто тридцать...» В окулярах бинокля – голубая прозрачная даль, запаянная в стеклянный объем, омытая холодом, светом. Волнистая седая равнина и голые, безлистные деревья – корявые, гнутые, расщепленные ударами взрывов. Гранатовые рощи, сады, изрезанные пролетевшим железом. Виноградники в воронках и рытвинах, тусклые, словно припорошенные пеплом. Кандагарская «зеленка» белесо, безжизненно уходит к горам, угрюмым, коричневым, недвижимым в пустых небесах. «И здесь все нормально... Теперь на цель шестьсот шесть...» Разрушенный кишлак на холме, похожий на скелет выброшенного на отмель дохлого животного. Рухнувшие своды, огрызки домов и дувалов, груды горчичной пыли. Артиллерия, самолеты били в этот желтый кишлак, истирая его до земли. Но душманы ночами приносили в развалины минометы, установки реактивных снарядов, обстреливали с холма придорожные заставы, колонны машин на бетонке.

«Так, теперь вдоль арыка... К цели семьсот девятнадцать...» Колышутся красноватые травы, проросшие вдоль арыка, того, по которому подкрадывались душманские стрелки и минеры. Быстрыми пальцами под туманной лу-

ной рыхлили обочину, закладывали фугасы и мины. Биноколь процеживает рыжие гривы, стараясь уловить мелькнувшую чалму и накидку. Но заросли вдруг замирают, вмороженные в голубоватое ледяное стекло.

«А теперь вдоль трассы... Самое гиблое место...» Дорога прорезает «зеленку», прямая, ровная. Ударяется в далекую гору, рикошетит, исчезает в тумане среди застав, разоренных кишлаков, зимних голых садов. По обочине – битая техника, непрерывный сцепившийся ворох. Биноколь выхватывает на мгновение, окружает чистейшим сиянием подорванный танк с опавшей пушкой, смятый, окисленный наливник, искореженный, ржавый КамАЗ, в черных проломах фургон, медленно движется вдоль мертвых машин. По этой дороге проходят боевые колонны. Сгоревшие в стычках, подорванные на минах машины – памятники убитым водителям, растерзанным саперам.

«И здесь тишина...»

Ниже дороги – зеленый лоскут возделанного поля, шершавые глиняные кровли, редкие облачка живого дыма над ними. По пыльной улице катит тележка. Низкорослая лошадь звенит бубенцами, трясет над головой красными помпонами. В коляске – белобородый, смуглый старик и мальчик в блестящей шапочке. Мирный, свободный от банды кишлак населен детьми, стариками и женщинами. Молодые мужчины ушли из кишлака к моджахедам, сражались в «зеленке». Ночами тайно возвращались к родным очагам пови-

даться с матерями и женами. После боев на кладбище у стен кишлака появлялись вырытые могилы. Убитых душманов, спеленутых, как белые коконы, выносили на лежаках, зарывали в каменистую землю. Бинокль задерживается мгновение на грудах пыльных камней, на кривых надмогильных шестах с зелеными погребальными лентами.

«И здесь как будто спокойно...»

Прочертив длинную линию от каменного хребта у горизонта до глиняного, с деревянной калиткой дувала, окуляры в упор наталкиваются на стенку, выложенную из танковых гильз. Мелькают солдатская каска, стянутый ремешком подбородок, сутулая под тяжестью бронежилета спина. Солдат смотрит прямо в линзы. Но стоит опустить окуляры, и солдат отлетит и уменьшится, танковые гильзы превратятся в грязную рябь и застава обретет свой привычный, примелькавшийся вид, сливаясь с отпрянувшей, утратившей очертания далью.

Старший заставы, командир взвода лейтенант Щукин отложил бинокль – даже далекий случайный выстрел не нарушал тишины ясного зимнего дня, а лишь подчеркивал царившее успокоение. Сегодня был редкий день, когда колонны не шли. Придорожные заставы отдыхали, не высылали сопровождение на бетонку. «Бэтээры» и танки стояли с умолкшими двигателями, спрятав в укрытиях пыльные, замызганные борта. Саперы не выходили на трассу, не выносили свои

длинные стальные щупы, стертые до блеска о жесткий грунт обочин. Душманы, осведомленные о прохождении колонн, не высылали к бетонке свои боевые группы. Таились вдалеке от пристрелянных опасных позиций. Укрывались в подземных блиндажах и кяризах, замотавшись в теплые шерстяные накидки, подкрепляясь холодной лепешкой и кусочками сушеного мяса, без огня и дымка, опасаясь попасть в перекрестье прицела. И взводный, зная все это, убеждаясь в тишине и спокойствии, моментальным усилием воли словно передернул предохранитель. Отбросил страхи, готовность к броску и к бою, давая место иному чувству. Обратился душой к этой малой, окруженной враждой и опасностью заставе, на которой воевал его взвод. День тишины и покоя был дан ему, командиру, на исполнение хозяйственных дел.

«До вечера будет тихо... А там поглядим, посмотрим...»

Щукин покинул командно-наблюдательный пункт – КНП был оборудован в сумрачной каменной нише – и вышел на солнце.

Застава угнездилась впритык с прежним складом горючего – здесь хранился запас городского, кандагарского топлива. Огромные серебристые баки, уложенные плотно на высокие бетонные стенки, тускло мерцали на солнце. Напоминали громадный орган, вмурованный в черное тело горы. Баки и впрямь начинали гудеть и вибрировать, когда разрывалась над ними мина, посыпая железо осколками. Да и выстрелы танковых пушек порождали в резервуарах долгое, унылое

эхо. Склад заставы «Гээсэм» был построен еще американцами. Но с начала войны все цистерны были многократно прострелены. Испарился на жарком солнце запах бензина, и от баков веяло пыльным железом, исходил унылый мутный свет. Застава при переговорах в эфире имела позывной «Альфа». В просторечии же, у водителей военных машин, у солдат батальона, охранявших дорогу, у всех, кто служил в Кандагаре, звалась «Гээсэм». Имела репутацию самой воюющей. Как, впрочем, и соседствовавшие с нею заставы – «Гундиган» и «Элеватор». Зона непрерывной кровавой борьбы с «зеленкой».

Взводный оглядел подпиравшие небо цистерны, притулившийся у каменистого пологого въезда «бэтээр», сторожевую обглоданную вышку, на которой стоял часовой. Подумал: когда-то здесь, словно в иной жизни, теснились цветастые, разукрашенные грузовики, сновали, толпились смуглые бородатые люди – водители и заправщики, торговцы и менялы, жители соседних кишлаков и кандагарских окраин. Эта жизнь неизбежно снова вернется сюда, на сухое, посыпанное осколками взгорье. Но теперь на нем занимают оборону солдаты. Здесь их жилье, их гнездовье, постоянно разрушаемое, требующее ухода, радения. И он, командир, хозяин, устроитель заставы, направлялся с обходом по своему хозяйству.

У входа в казарму, в каменное, оставшееся от прежних времен жилище, солдаты строили из зеленых зарядных ящи-

ков курилку. Не хватало на заставе такого местечка на вольном воздухе, где можно было бы посидеть, отдохнуть, не опасаясь душманского снайпера, разорвавшейся в воздухе гранаты. Солдаты несли пустой, с оторванной крышкой ящик к откосу. Кайлом выбивали из горы щебень и камни. Наполняли ящик и медленно, тяжело тащили его обратно. Ставили на другие набитые гранитом короба. Они же виднелись на вышке и вдоль внешней границы заставы, образуя плавный, повторяющий склон бруствер. Ящики из-под танковых и артиллерийских снарядов ценились здесь высоко, служили незаменимым стройматериалом.

Стена курилки поднималась, росла. Работами заправлял ефрейтор Благих, круглоголовый, стриженный, с маленьким вздернутым носиком. Осматривал ящики спокойно, внимательно. Немного словно давал указания солдатам. Отбирал из груды пустых ящиков те, что считал пригодными для строительства. Непригодные откладывал в сторону.

– Этот в дело... Этот в дрова... А этот на мебель...

Его слушали и тут же раскладывали материал в разные стороны. Второй Благих, санинструктор, рядовой, повторявший первого чертами лица, выражением глаз и губ, жестами. Взводный различал близнецов только по очередности их следовавших друг за другом движений. Старший на несколько мгновений всегда опережал брата. Тот вторил ему послушно и радостно.

– Гвозди выбей и выпрями! – командовал ефрейтор.

Сам ловко выдрал гвоздодером впившийся в доску гвоздь и тут же на камне мелкими, аккуратным ударами распрямил его. И брат так же ловко тем же гвоздодером извлек второй гвоздь. Тем же числом аккуратных ударов распрямил его, высунув розовый кончик языка, совсем как ефрейтор.

Щукин удивлялся их сходству, как диву природы. Природа, сотворив одного, в подкрепление, в подтверждение себе создала его точную копию. Оба они, неразлучные, были наполнены единым дыханием жизни, одним на двоих. Были вечно вместе – в караулах, в нарядах; спали на соседних койках; писали домой одно и то же письмо; уединившись, о чем-то негромко шептались. Однажды лейтенант увидел их, молча сидящих на солнцепеке. Взялись за руки, закрыли глаза, притихли, давая единой наполнявшей их жизни свободно переливаться от одного к другому.

Взводный изумлялся, робел, наблюдая это таинственное единство.

– Что за мебель задумали? – спросил лейтенант, глядя, как ефрейтор топором расщепляет ящик. Одна сторона доски была покрыта грубой зеленой краской с черной маркировкой, а другая, белая, живая, блестела капельками желтой смолы, пахла елью. И было что-то щемящее, родное, новогоднее в этом северном запахе, занесенном в азиатские земли. – Что за мебель? – переспросил лейтенант.

– Да вам, товарищ лейтенант, стены в квартире обшить. Уютней будет. Досочками обложить, лампой паяльной об-

дуть – вот и стены! Красное дерево!

Щукин был тронут такой заботой. Его жилище – тесная, с кроватью и столиком комнатка – было рядом с казармой. Кирпичные стены крошились. С потолка сыпалась труха. Близнецы сложили маленькую печурку, согревавшую в зимние ночи. А теперь задумали украсить жилище деревом. Это солдатская забота о нем на мгновение поменяла их местами: не он пекся о них, об их здоровье и благе, а они о нем.

– Этого добра набирается – терем можно построить! – кивая на ящики, сказал лейтенант.

Оба брата были умельцы, мастера – почет им особый. Работали в совхозе строителями. И на заставе вечно у них в руках топор, молоток, лопата, а то и мастеров, а то и малярная кисть. Братьев знали и у соседей: у ротного их руками была сложена печка, а у замполита сколочено узорное креслице. Щукин никогда не вмешивался в их работу, не отвлекал указаниями, боясь быть бестактным. Они умели то, чего он, командир, не умел, и в своем умении были выше его, командира.

– Ты гвоздочки все собери аккуратно! – провел ефрейтор исцарапанной рукой по губам. И младший Благих, проведя по губам рукой с такой же красной царапиной, стал подбирать с земли выпрямленные гвозди.

Вдоль серебристых цистерн комвзвода направился в дальний угол заставы, где размещались хозяйственные службы. Там недавно его стараниями была воздвигнута банька, кро-

хотный, выложенный кирпичом отсек. Эта завершенная новостройка, до которой не доходили руки прежних обитателей заставы, вселяла в командира гордость. Под обстрелами, между боями, в непрерывных военных трудах умудрились они разжиться банькой. Вкушали сладость ее. И летом, когда едкая пыль набивалась во все поры, под веки, под язык, забиралась и под каску, и под бронежилет, отчего зудящее тело испытывало непрерывную муку. И зимой, когда холодный, режущий ветер продувал броню «бэтээра», камни сторожевой вышки, унося из души и тела последнее тепло, наполняли грудь унынием и простудным кашлем. Банька спасала, тешила, была всем отрадой. На заставе не имелось телевизора – близкие горы гасили сигнал. Газеты приходили с опозданием. И люди отвлекались в бане от однообразия и тягот службы.

Вот и сейчас за каменной стенкой слышался плеск воды, гогот и фырканье. Из узкого проема под крышей валил пар. Из-под стены по желобку прерывисто текла мыльная струйка.

Лейтенант заглянул в баню. В маленькой жарко-туманной клетушке на деревянном полу топтались двое, голые, разгоряченные. Старший сержант Малютко, здоровенный, с крепкими икрами, налитыми круглыми бицепсами, гуляющими по всему телу волнами здоровья и силы, наклонясь к лавке, гоготал, одобрительно кричал, а второй, рядовой Курбанов, что было сил тер ему спину. Курбанов, тощий, с тонкой ше-

ей, с выпученными от напряжения глазами, надрывался, работая мочалкой. Дергал колючими локтями, упирался в лавку костлявой стопой.

Малютко, водитель «бэтээра», готовился к увольнению. А Курбанов, пулеметчик той же машины, служил первый год, наработывал себе воинский срок, не только стреляя из крутящейся башни, не только промывая и прочищая оружие, но и надраивая красную сержантскую спину.

Щукин и сквозь банный туман моментально проник в эту нехитрую солдатскую социологию.

Увидев командира, оба распрямылись, стояли перед ним нагишом – Малютко спокойно и весело, натертый, блестящий, а Курбанов, стыдясь своей наготы, прикрываясь намыленной мочалкой.

На груди у Малютко был выколот синий ширококрылый орел, скосивший к соску загнутый клюв. В когтях у орла извивалась лента, а на ней голубела надпись: «Кандагар». У другого соска была наколота гильза, над нею цифра 1 – группа крови на случай ранения. Такие же гильзы и цифры были выведены на щуплой, тяжело дышащей груди Курбанова.

– Что же ты, Малютко, делаешь? Собственной кожи тебе не хватает? – выговаривал строго взводный. – Вон у тебя и живот, и спина, и еще кое-что свободно – места много! Зачем же Курбанова портишь? Это африканцы в джунглях разной ерундой себя покрывают, ракушками надрезы делают, чтобы их за храбрых воинов почитали. Ты ведь не в джун-

глях. Зачем Курбанову кожу портишь?

– Я не порчу, товарищ лейтенант, – ухмыльнулся Малютко. – Это он сам, добровольно. Поглядел, как у меня красиво расписано, и просит: «Сделай!» Ну я и сделал по дружбе... Так или нет, Курбанов?

Тот не отвечал, топтался на мокрых досках.

– Потом, когда ума наберется, будет проклинать тебя за твое рисование, – поморщился Щукин, понимая свое бессилие, невозможность убедить, приказать. – Его мать родная увидит и ахнет.

– Зато девушка будет лучше разглядывать! – хохотнул Малютко. – А то чего в нем глядеть-то! Кожа да кости!

Эта вольная манера говорить и держаться комвзводу была понятна. Здоровяк водитель на заставе «старейшина» – жил здесь дольше всех, дольше самого лейтенанта. Был храбр, умен, работающ. Ранен осколком, о чем свидетельствовал шрам на плече. Водил «бэтээр» бесстрашно и точно среди фугасов и мин, звериным чутьем спасаясь от подрывов, умудряясь проскочить засаду за секунду до того, как вылетит из гранатомета огонь, проревет за кормой красный ревуший смерч. Скорости, на которых водил машину Малютко, – вот его слава на заставах, во всем батальоне. Когда появлялся раненый и требовалось доставить его в госпиталь, а на дороге не было сопровождения, не было на обочинах «бэтээров» и танков, защищавших маршрут, Малютко на бешеной скорости, врубив слепящие фары, гнал транспортер сквозь Канда-

гар, через Черную площадь, рискуя получить в борт гранату, по тесным, запруженным улицам с разноцветными «борбухайками», моторикшами, похожими на пестрые погремушки. Гнал, слыша шлепанье накидок по броне, аханье возниц и торговцев, через площадь с пушками, где орудия времен английской войны выставили бронзовые жерла. Мимо рынка с лазурной мечетью, сквозь враждебный, горячий, иссеченный осколками глинобитный город, озиравшийся на броневик невидящими глазами, зелеными мусульманскими флагами, голубыми куполами мечетей. На днище «бэтээра», опьянев от промедола, лежал прострелянный человек, не ведая о стремительном полете машины.

Лейтенант прощал Малютко его иронию, вольность. Глядел на сильное, крепкое тело, созданное для трудов, для любви, для жизни. Желал, чтоб скорей наступил его «дембель». Чтобы тела его больше не коснулась безжалостная стальная фугаска.

– К нам в баньку, товарищ лейтенант! – пригласил Малютко.

– К вечеру, после вас, – ответил Щукин.

– Тогда кликните меня, спину вам потру хорошенько! – И обращаясь к Курбанову, забывая о лейтенанте, сурово приказал: – А ну давай еще стружку сними! Отдохнул, а теперь подрай!

И тот послушно, намылив мочалку, двинул ею по блестящей красной спине.

За банной перегородкой в сумрачной кубовой перед маленькой топкой сидел на корточках солдат Лучков. Осторожно, боясь обжечься, заталкивал в печурку щепки из ящика. Печка трещала, дымила. Вмурованный в глину котел клокотал. Красноватое пламя освещало худое лицо солдата, его длинные пальцы, острый торчащий кадык. Щукин успел разглядеть счастливое, отрешенное выражение его глаз. В одиночестве, без помех, наедине со своими блуждающими невнятными мыслями, он смотрел на огонь. Это выражение исчезло, сменилось испугом, когда Лучков увидел командира. Поспешно встал, длинный, сутулый, в неопрятной, дыбом стоящей форме. Вытянулся перед лейтенантом. И тот испытал к нему двойное чувство: и раздражение, и сострадание. Лицо солдата было невыбрито, подворотничок черен от грязи, форма заношена и замызгана.

– Опять тебя, Лучков, будто из грядки выкопали! Весь в земле! Иди в баню и шею кирпичом ототри, а то мыло уже не возьмет! В прошлый раз почему в бане не был?

– Заболел, товарищ лейтенант, – тихо, переминаясь, ответил Лучков. – Горло очень болело.

– И станешь болеть, если мыться не будешь! И тиф подхватишь, и гепатит, и коростой весь порастешь! Здесь пыль такая, вопьется – и через кожу в печень! Давай, марш в баню!

Лучков был москвич, маменькин сынок, первого года службы. Прирастал к заставе мучительно. Тяготился не столько обстрелами, сколько неизбежным, постоянным пре-

быванием на виду, среди солдат, невозможностью спрятаться, уединиться, побыть одному. В казарме, в столовой, в комнате отдыха, в туалете – все на виду, скопом, в гоготе, среди насмешек, тычков. Его, москвича, недолюбливали за слабость, неумение, отвращение к грубой пище, к грубому слову. Солдаты не прощали ему медлительности, быстрой утомляемости, когда приходилось много и тяжело трудиться, порой непосильно, не высыпаясь, пробуждаясь от ночных тревог и обстрелов. Каждый работник, каждый солдат был на счету. Малейшее уклонение от дела почиталось за непростительный проступок. Лучков не выдерживал нагрузок. Ему становилось все трудней, все больней от нападков товарищей. И этот двойной нарастающий гнет мог его уничтожить.

Комвзвода знал, слышал от старших командиров о столь опасном разрушении человека. Об унынии, тоске, изъедавших волю и дух. Бывали случаи, когда в этой тоске, на посту, в карауле, в глухую ночную минуту, милый дом, родные и близкие казались невозвратными навеки, и тогда раздавался одинокий негромкий выстрел, и солдата находили мертвым, с неостывшим еще автоматом. Говорили – то ли в Чирикаре, то ли в Газни и Герате, то ли в этом, то ли в позапрошлом году – об этом невнятно толковала молва – случалось, что солдат уходил в «зеленку», сдавался на милость «духов», чтоб спастись от своих мучителей. И там пропадал бесследно. Или вновь появлялся в окровавленной грязной дерюге, жутко изувеченный и истерзанный, на страх остальным.

Шукин смотрел на Лучкова, раздражаясь его робким, запуганным видом, его немощью, неопрятностью и одновременно сострадавая ему. Хотел представить его московское житье, его близких, желал помочь, укрепить.

– Я тебя попрошу, Лучков... Ты сейчас в баню пойдешь, хорошенько помойся, освежись. Подворотничок смени. А потом давай-ка приходи под баки к перекладине. Я тебя потрепирую немного. «Солнышко» научу крутить. Это полезно, знаешь...

Лейтенант представил уютный московский дом Лучкова, белую чистую ванну, блестящий кафель, душистый флакон шампуня, зеленоватую воду и перламутровую ароматную пену, мохнатое полотенце на вешалке. Испытал к солдату, данному ему в подчинение, для боя, для тяжелых трудов, быть может, для ран и для смерти, – испытал к нему внезапную нежность, вину, готовность взять на себя его заботы и горести. Но не сумел выразить этой нежности и вины. Счел за благо просто уйти, оставив Лучкова наедине с огнем и с печуркой.

В комнате отдыха, в полуразрушенной каменной башне, оставшейся от прежних владельцев, двое саперов, Кафтанов и Макаревич, они же редакторы стенгазеты, трудились над очередным номером. Кафтанов, умевший рисовать, макал в стакан кисть, осторожно набирал на нее краску. Макаревич благоговейно смотрел, как рождается рисунок. Бегал выплескивать на пыльный двор замутненную воду. Возвращал-

ся с чистой.

– Творите, творите! – остановил лейтенант их, вскочивших с табуреток. – К вечеру-то закончите?

Газетный лист на столе краснел яркой надписью: «Выстрел». Вторую половину листа Кафтанов прикрыл оберточной бумагой, чтобы случайно не закапать газету. Рисунок был почти завершен.

Лейтенант увидел недавний, третьего дня случившийся бой. Тогда на саперов, Кафтанова и Макаревича, обеспечивавших продвижение грузовой колонны, было совершено нападение. Кативший за саперами «бэтээр» вместе со скорострельной зениткой «Шилкой», бившей с заставы, отразили атаку душманов. Простреливая заросший арык, погнали «духов» обратно в «зеленку».

Щукин, не умевший рисовать, наивно восхитился: на рисунке все было понятно, знакомо – фигуры саперов, арык, «бэтээры». Художник Кафтанов был таким же незаменимым и знаменитым на заставе, как и строитель Благих, как и лихой водитель Малютко.

– Заметки готовы? – спросил лейтенант. – Покажите! Макаревич протянул командиру стопку листов, которые исписал своим круглым, школярским почерком.

Лейтенант стал читать. Свою собственную передовую, посвященную празднику армии. Рассказ о недавнем бое – о мужестве саперов и слаженности расчета «Шилки» – лейтенанта Феофанова, командира зенитчиков. Критическую замет-

ку прапорщика Головина о захламленности заставы в районе танковой позиции, а проще говоря – о помойке. Поздравление рядовому Усунбаеву с днем рождения. Все это внимательно перечитал лейтенант, исправив в нескольких местах грамматические ошибки.

– А почему не критикуете повара? – поинтересовался он. – Я же просил! Сколько можно давиться этой жидкой кашей, этой липкой тушенкой! Надо врезать хорошенько Усманову!

– Усманов просил не врезать, товарищ лейтенант, – виновато ответил Макаревич. – Он исправится. Он говорит, плов умеет готовить, баранину умеет, а кашу гречневую не умеет, тушенку не умеет. Он поедет на «Гундиган», спросит, как лучше тушенку готовить.

– А я бы раздолбал Усманова! – недовольно, но не настаивая, сказал лейтенант. Но думал уже о другом.

Назавтра ожидалась колонна. И оба газетчика, отложив карандаши и кисти, ступят с миноискателями на дорогу. Пойдут по ней, промеряя, прокалывая пыль, стараясь нащупать в земле твердое тело мины, мимо изувеченной, расколотой техники, по «фугасной яме» – длинной, наполненной пепельной пылью выбоине. Она образовалась в том месте, где подходит к бетонке арык. Здесь минеры врага в годы войны устанавливали бесчисленные фугасы – они-то и содрали бетон с дороги. «Фугасная яма» – самое опасное для водителей место. В эту яму уткнутся завтра шупы саперов. Она и

во сне, и наяву, и даже в рисунках преследует их, как неотступное зло.

– Слушай, Кафтанов, – сказал лейтенант, устав вдруг от вида этой серой колдобины, острых кинжальных трасс. – Что ты все про войну да про войну! Нарисовал бы что-нибудь для души! Чтоб взглянуть и вздохнуть свободно!

– А я нарисовал, товарищ лейтенант! – ответил Кафтанов. – Только боялся вам показать. Думал, вы заругаетесь.

Он откинулся от стола. Осторожно сдвинул с листа оберточную бумагу. Шукин увидел, как сочно, свежо светится березовая роща, голубеет с кувшинками озеро, а над озером, распластав белоснежные крылья, летит лебедь. Образ солдатской мечты, стремление на север, прочь от чужой земли, в родные места.

Все трое стояли, смотрели зачарованно на летящую птицу.

У въезда на заставу, у опущенного шлагбаума, стоял часовой в бронежилете и каске. На вышке то в одной, то в другой бойнице за оружейными стволами виднелся наблюдатель – поблескивал из-под каски бинокль. Между каменных стенок под выпуклыми серебристыми баками солдаты играли в футбол. Носились в узком простенке, разгоряченные, потные, гоняли мяч, за неимением камеры набитый жесткими тряпками. Здесь, меж стенок, заслонявших от снайпера, находилось их крохотное футбольное поле. Здесь, в тесноте,

уменьшенным составом команд, трое – на трое, они проводили свои матчи.

Лейтенант смотрел, как, пихаясь локтями, крича, тусуя ботинками жесткий мяч, бежит пулеметчик, обводя, отгалкивая сердитого минометчика, и тот обиженно, тонко вскрикивая, хватает противника за крепкий локоть. Они сцепились, и мяч, отскочив от стенки, подкатился к ногам лейтенанта. Щукин мгновение раздумывал, не желая мешать игре. Но не удержался. В счастливом азарте кинулся в самую гущу, стал пинать неровный, зашнурованный проволокой мяч, промчался за ним на край поля, где из танковых гильз были выстроены ворота, – ударил ногой. Мяч подлетел, шмякнул в пустой бак, упал на землю, и им тотчас завладел солдат, ловко погнав вдоль стенки. А лейтенант, смущенный, прошел мимо, слушая долго гудевшую от его удара металлическую пустоту.

Он зашел в свое командирское, темное, без окон, жилище, зажег свет, озаривший кирпичные обшарпанные стены, прикрытые над кроватью полотняной тряпицей, кровать, занимавшую две трети жилого пространства, столик в головах, столь малый, что за ним едва удавалось раскрыть книгу. Печка, обмазанная глиной, еще излучала слабое тепло и запах елового дыма. Ниша в стене на зиму забивалась доской. Летом доска убиралась, в проем проникал неяркий, желтоватый свет, а чтобы уличный жар не затекал в комнатушку, в эту нишу укладывался пук верблюжьей колючки, поливался

водой. Слабая тяга выпаривала воду, остужала помещение. «Кандагарский кондиционер» – называли колючку жившие здесь офицеры. Она и сейчас была в нише, сухая, черная, забытая с лета.

Шукин сел за столик, застланный аккуратно газетой. Достал тетрадь в клеенчатой обложке. Раскрыл и стал глядеть на исписанные, освещенные лампой страницы. Это был его дневник, который с перерывами, иногда на целые месяцы, он умудрялся вести.

Направляясь в Афганистан почти сразу после училища, он дал себе слово вести дневник. И начал его с первых дней на заставе. Ему казалось важным не только для себя, но и для кого-то еще, желающего лучше понять суть афганских событий, записывать свои состояния, все, что он увидит на этой уникальной, загадочной азиатской войне, на которую привела его офицерская служба. Описывать нравы народа, архитектуру и быт кишлаков, убранство домов и мечетей. Фиксировать местные предания и сказы, свои мысли и чувства, наблюдения о муллах и торговцах, о дружественной армии, о политической жизни страны, в которую он волею обстоятельств вынужден был вмешаться. И первые страницы заполнялись пространными описаниями местной природы, закатов и восходов, кандагарского рынка, расписных грузовиков, размышлениями о несходстве среднерусского климата с климатом этих сухих, горячих земель, где иногда вдруг начинало чувствоваться дыхание близкого океана.

Но постепенно записи становились короче, эмоции и чувства однообразнее. Времени для записей не хватало. Не было продолжительных разговоров и встреч с муллами. Купол кандагарской мечети, мимо которой пролетел «бэтээр», был пробит снарядом. Вопросы продовольствия, боекомплекта, медицинского обслуживания на вверенной ему заставе становились главной его заботой. Ежедневные обстрелы, проводка колонн, отправка в госпиталь раненых – главным содержанием его жизни.

Но он продолжал вести свои записи, сухие и короткие, как щербинки, нанесенные осколками на каменную дозорную башню. Надеялся когда-нибудь после, не здесь, а в другой, пока еще отдаленной жизни, восстановить день заднем пережитое. Ночное небо, бархатно-черное, теплое, с шевелящимися белыми звездами, внезапные озарения души, стиснутой на этой заставе минными полями, пулеметными гнездами и брустверами. Запах теплого дыма невидимого очага, у которого в сумерках глинобитного дома сошлась невидимая семья. Боль в желудке, когда начинался тиф, когда его увезли после обстрела и он в «бэтээре», кутаясь в танковую куртку, все волновался, пугался, как на заставе обойдутся без него, командира. И ужаснувшиеся, побелевшие глаза новобранца, увидевшего впервые убитого – растерзанного миной водителя, его оторванную, лежавшую на обочине ногу. Осколок в праздничном торте – как смеялись они этой проделке душманов, пославших свой стальной, с зазубренными

краями гостинец!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.